



Артём Савенков

Сказочник

Артем Савенков

Сказочник

«Автор»

2026

Савенков А.

Сказочник / А. Савенков — «Автор», 2026

Филипп Морозов живёт в комнате общежития, где не горит лампа, не работает замок и не осталось ничего, кроме тетради. Он не ждёт спасения — пока голод не выталкивает его на улицу с картонной табличкой: «Обещаю всё пропить до копейки». С этого начинается путь, в который трудно поверить. Случайный бар, случайный микрофон, случайная история — и вот уже весь город говорит о Сказочнике. Но чем громче слава, тем тоньше грань между тем, что он рассказывает, и тем, что происходит на самом деле. Деньги, бизнес, женщина, которой нельзя быть с ним, влиятельный покровитель, старый должник, месть, прощение — всё сплетается в сюжет, который сам превращается в сказку. Это роман о том, как слово может поднять человека с колен — и как легко оно же может его погубить. О жизни на дне и о том, что иногда именно оттуда виднее небо.

© Савенков А., 2026

© Автор, 2026

Артем Савенков

Сказочник

Глава первая

Комната 317

Он жил в общежитии, которое стояло на окраине города так, как стоят забытые вещи - некрасиво, но прочно, вросши в землю всеми своими пятью этажами, точно старый холодильник, который уже не выносят на помойку только потому, что к нему привыкли.

Комната была триста семнадцатая. Число, если взглядеться, ничего не обещало, но и не угрожало - оно просто было, как номер на спине хоккеиста, которого никогда не показывают крупным планом. В комнате пахло пылью, чужими жизнями и тем особым общежитским эфиром, который не выветривается ни сквозняками, ни временем, ни даже смертью прежних жильцов.

Он лежал на кровати и смотрел в потолок. Потолок был покрыт трещинами, и если долго в них всматриваться, они начинали складываться в карту несуществующей страны. Он это знал, потому что занимался этим уже третий месяц.

За стеной кто-то кашлял - глухо, по-стариковски, хотя за стеной жил студент-первокурсник с лицом человека, который ещё не понял, куда попал. Кашель был его единственным способом напоминать миру о себе. Или не единственным, но самым честным.

Герой прикрыл глаза. В голове, как всегда в этот час, начинало крутиться одно и то же - не мысль даже, а её тень: как я здесь оказался? Но он не позволял ей оформиться. Он знал: если дать этой тени слово, она скажет слишком много. А он пока не был готов слушать.

По коридору протопали чьи-то тапки - звук был такой, будто по линолеуму волокли тело. Потом хлопнула дверь. Потом где-то на кухне засвистел чайник - тонко, надрывно, как будто его душили.

Он сел. Подошёл к окну. За окном был вечер - не тот, что в книгах, с багровым закатом и обещанием тайны, а обычный, серый, как старая вата. Внизу, у входа, курили двое. Один - в спортивных штанах, другой - в пальто поверх пижамы. Они молчали. И это молчание было красноречивее любых диалогов.

Он вдруг понял, что уже очень давно ни с кем не говорил. Не потому что не с кем - вокруг жили десятки людей, - а потому что слова, которые он мог бы им сказать, были из другого мира. А слова из этого мира были ему не нужны.

Он отошёл от окна и сел за стол. На столе лежала тетрадь. Обычная, в клетку, с обложкой, на которой было написано: «Для записей». Он открыл её. Внутри было пусто, если не считать одной фразы на первой странице, написанной его собственным почерком, но так, будто её вывел кто-то другой:

«Тот, кто рассказывает сказки, сам рано или поздно становится персонажем. Но не всегда - главным».

Он долго смотрел на эти слова. Потом взял ручку. И написал под ними:

«Начало».

Денег не было совсем. Не «мало», не «почти не осталось» - а именно совсем: пустота в кармане такого качества, когда уже не замечаешь её, как не замечаешь отсутствия зуба, если он выпал достаточно давно.

Он жил здесь в долг. Точнее - в кредит, выданный ему странной валютой: чужим терпением, полузабытой благодарностью и, кажется, верой в то, что мир всё-таки не до конца списан в утиль. Владельца комнаты звали Костик, и он был из тех людей, которые появляются в жизни один раз, как персонаж случайного сна, но почему-то задерживаются в ней дольше, чем близкие родственники.

Когда-то герой помог ему. Не сильно. Не героически. Так, по-человечески - в тот момент, когда Костик стоял на пороге собственной глупости и не знал, куда шагнуть. Герой сказал ему несколько слов. Может, даже не слов - а просто оказался рядом. И этого хватило, чтобы Костик запомнил его навсегда.

Прошло время. Жизнь развела их, как разводит почти всех. Но однажды, когда герой оказался на дне - а дно это выглядело как ноябрьский вечер, пустой кошелёк и отсутствие адреса, по которому можно вернуться, - Костик объявился сам. Будто услышал, как герой падает.

- Комната есть, - сказал он тогда. - От тётки досталась. Дальняя. Детей не было. Завещала - сама не знаю зачем. Я туда не хожу. Живи.

Костик жил более-менее хорошо. Не богато, но так, как живут люди, у которых есть ровный график, тёплый пол и уверенность, что завтра будет не хуже, чем вчера. Комната ему была не нужна - и он сдал её герою. Без договора. Без срока. Без напоминаний.

Иногда герой ловил себя на мысли, что Костик вообще не ждёт денег. Что для него всё это - не гешефт, а способ оставить за героем присмотр. Что где-то глубоко, под коркой бытового равнодушия, Костику просто приятно знать: есть на свете место, где живёт человек, которого он однажды не бросил.

И герой не спорил. Он платил, когда мог. Точнее - когда мог бы, если бы у него что-то было. Но в последний год - не платил ничего. И Костик молчал. А его молчание было громче любых звонков коллекторов.

Комната дышала на ладан. Обои отходили от стен так, будто хотели уйти по-английски, не прощаясь. Мебель - стол, кровать, тумбочка - держалась из последних сил, как пенсионерка в очереди в собесе. Ремонта не было лет двадцать, и это было не запустение, а скорее форма честности: комната не притворялась, что ей есть до кого-то дело.

Телевизора не было. Радио не было. Даже розетки смотрели на него с лёгким укором - как на жильца, который не сумел вдохнуть в это место ни тока, ни смысла.

Лампа перегорела больше года назад. Просто мигнула однажды, вздохнула - и ушла в темноту, как уходят старые актрисы: без скандала, но навсегда. Герой не стал менять. Свет ему был не нужен. Он жил в полумраке, который наступал с четырёх часов дня, и в этом полумраке было даже уютнее - мысли не отбрасывали теней.

Он приспособился. Читать не читал. Писал в тетради на ощупь, почти как слепой - по клеткам, по памяти, по внутренней пустоте, которая в темноте становилась глубже и отчётливей.

Иногда он зажигал свечу. Не потому, что романтик. Просто так было честнее: пламя - единственное, что в этой комнате ещё умело дрожать.

Вечерами он лежал на кровати и смотрел в окно. Окно выходило не на улицу даже, а на какую-то внутреннюю пустоту двора, где росли три тополя, похожие на забытых часовых. Они качались от ветра так, будто им было скучно стоять на месте, и он смотрел на них до тех пор, пока не начинало казаться, что это не деревья, а его собственные мысли - такие же голые, такие же ненужные, такие же живые в темноте.

Он вспоминал прошлое. Не всё подряд - а фрагментами, как вспоминают сон: не сюжетом, а светом, интонацией, чужим смехом в соседней комнате. И странное дело - воспоминания не приносили тоски. Скорее наоборот: от них веяло покоем, как от выполненной работы. Будто он отслужил долгий срок в каком-то невидимом учреждении, получил расчёт - и ушёл. По собственному. Без проводов.

Он не спрашивал себя, что именно его сюда привело. Это было не табу, а скорее... усталость. Вопрос лежал на дне, как утопленник, и он не хотел его поднимать. Вместо этого он перебирал в памяти истории, которые когда-то слышал: от случайных попутчиков, от бывших друзей, от людей, с которыми его сталкивала жизнь на коротких перегонах. Он докручивал их, переворачивал, как старые монеты, искал среди них ту, что оказалась бы жёстче его собственной.

И не находил.

Тогда он брал тетрадь и выписывал туда то, что оставалось: обрывок фразы, имя, деталь, образ. Иногда - просто слово, которое почему-то не отпускало. «Асфальт». «Калий». «Чужой пёс». Он не объяснял себе, зачем это делает. Но каждая запись была как вдох, который не даёт задохнуться.

День прошёл. Такой же, как вчера. И такой же, каким будет завтра. Он это знал с той особой, почти математической ясностью, с какой знают только те, кто выпал из времени. Рутинная бездельника - не пустота, а особая дисциплина. В ней есть свои часы, свои обряды, свои тихие победы: не потратил лишнего, не сорвался, не позвонил.

Скоро день рождения. Он помнил об этом, как помнят о приближении поезда, на который не собираешься садиться. Никакого праздника в душе не было - только лёгкое беспокойство, будто нужно прибраться перед гостем, которого не ждёшь. И ещё - седина. Она подступала не к вискам даже, а к самому краю мыслей: ещё одна дата, ещё одна отметина, ещё один год, который он прожил, не заметив.

Он повернулся на бок. Окно медленно гасло. Тополя исчезли. Осталась только темнота - и в ней, как в тетради, проступали строки, которых он ещё не написал.

Из всех вещей, что у него были, оставался паспорт. Не как документ, а как единственная ниточка, связывающая его с миром, где люди предъявляют себя по требованию. Всё остальное - одежда, обувь, тетрадь, полупустой рюкзак - было не вещами, а лишь временными спутниками, которые можно оставить, как оставляют на вокзале ненужный пакет.

Паспорт лежал в ящике тумбочки. Ящик открывался с усилием, будто не хотел показывать то, что внутри. Он выдвинул его. Паспорт был на месте - в прозрачной обложке, потёртой, как всё, что долго носят с собой и редко достают.

Он взял его. Пальцы ощутили холодок глянца - тот самый, знакомый с юности, когда паспорт впервые выдают и кажется, что вместе с ним выдают право на жизнь.

Открыл.

Со страницы на него посмотрело лицо. Молодое. Свежее. Даже не лицо - а его черновик, набросок, сделанный до того, как жизнь внесла правки. Глаза смотрели прямо, как смотрят те, кто ещё верит, что документы имеют значение. Волосы темнее. Взгляд - не то чтобы глупый, но чистый, будто человек ещё не знает, что будет дальше. И потому не боится.

Он долго вглядывался в это лицо, как в лицо незнакомца, с которым когда-то учился в одном классе. Потом перевёл взгляд на строку.

Морозов Филипп Александрович.

Имя, отчество, фамилия - всё на месте. Всё казённое, как приговор, и всё - его. Филипп. Он даже мысленно произнёс это вслух, в тишине комнаты, и слово прозвучало как пароль, который давно не называли.

Дальше шла дата рождения. Он всмотрелся в цифры, как в чужой шифр. Потом, не доверяя глазам, стал пересчитывать на пальцах - по-детски, медленно, будто в уме не хватало места для простого вычитания.

Тридцать четыре. Скоро - тридцать пять.

Своеобразный юбилей. Полукруглая дата, за которую положено пить, звать гостей, говорить тосты. Но он тут же понял: это будет просто день. Обычный. Как все. Даже не вспомнит,

возможно. Потому что о нём никто не знает. Никто не позвонит, не спросит, не сойдёт, что спешит поздравить.

Он не ждал торта. Не ждал гостей. Не ждал даже эсэмэс. Всё это осталось где-то в той версии жизни, где дни рождения имели вкус. Здесь, в этой комнате, где не горела лампа и не было часов, возраст был не праздником, а пометкой на полях судьбы: «продолжает существовать».

Он закрыл паспорт. Убрал в ящик. И, как это бывает с документами, на секунду почувствовал, что не он владеет паспортом, а паспорт - им.

В животе урчало. Глухо, протяжно, как в пустой трубе, по которой гоняет воздух ветер. Раньше этот звук заставил бы его вскочить, натянуть куртку, выйти на поиски - любой еды, хоть хлеба, хоть кипятка, хоть пакета лапши, завалившегося в подкладке. Теперь он слушал это урчание, как слушают шум соседей: нехотя, без раздражения, почти не замечая.

Голод стал неотличим от фона. Он больше не был потребностью - скорее, напоминанием, что тело ещё живо. И это было даже не грустно. Просто факт.

В дверь постучали. Даже не постучали - толкнули. Раз, другой, и дверь распахнулась, потому что замок давно умер своей смертью, а чинить его было незачем: всё, что можно было украсть, уже украдено, всё, что можно было бояться, - уже случилось.

В комнату вошёл мужчина лет за пятьдесят. Пьяный, но не шатающийся - пьяный той особой, почти торжественной пьяностью, которая держит человека в вертикали, но выключает из него всё лишнее. Одет он был странно: потрёпанные брюки, грязная рубаша, а поверх - пиджак, тоже выдавший виды, но всё ещё помнивший, что когда-то был частью чьего-то приличного гардероба. На голове - кожаная кепка, севшая так глубоко, что казалось, будто она выросла в череп.

В руке он держал пакет. В пакете - три полторашки. Жидкость была прозрачной, как вода, но герой знал: это не вода. Это спирт. Тот самый, что продавали неподалёку, на районе, из-под прилавка или с рук, - не спрашивая документов и не объясняя состава. Из чего он был сделан, не знали даже те, кто его пил. И знать не хотели. Главное - вставляло. Да так, что периодически кто-нибудь в общепите не просыпался. Но алкаши относились к этому философски. Как викинги - к смерти в бою. Для них это был не позор, а судьба. Пасть в битве со спиртом - значит, умереть с мечом в руке. И никто в этих стенах не смотрел на такое презрительно.

Кроме спирта, в пакете угадывались контуры: паштет, консерва - что-то ещё, схваченное второпях на мусорке или стянутое с нижней полки магазина, где камеры не достают. Всё это лежало в пакете, как трофеи после нехитрого набега.

Мужчина сделал два шага в комнату, огляделся - не испуганно, а скорее по-хозяйски, как человек, который ищет нужную дверь в длинном коридоре бреда. Понял, что не туда. И молча закрыл дверь. Без злобы, без удивления. Как будто комната номер триста семнадцать была не его остановкой.

Герой проводил его взглядом. Он не пошевелился. Для него это не было событием. Такое случалось не впервые. Дверь без замка давно стала не дверью, а проёмом, в который заходят ошибки, запахи, случайные люди - и уходят, не оставив следа.

Он снова уставился в потолок. Урчание стихло. Стало тихо. Только где-то внизу, у выхода, хлопнула дверь - и снова стало слышно, как за стеной кашляет первокурсник.

Герой знал: скоро начнётся пьянка. Не «возможно», не «если», а именно - скоро. Таков был ритм этого места, его пульс, его подкожный календарь. После того как в дверь заглянул гонец со спиртом, в общепите наступало особое время - короткое, как промежуток между вспышкой и громом. По коридорам начинали двигаться тени, хлопали двери, с кухни доносились звуки, похожие на подготовку к ритуалу.

Через тридцать, может, сорок минут всё будет готово. Алкоголь польётся, голоса станут громче, а лица - проще. И тогда можно будет прийти. Не как гость, не как свой - а как тот, кого не замечают.

Он так питался в последнее время. Не просил. Не садился за стол с видом равного. Он появлялся в самый разгар, когда алкаши уже не очень понимали, кто с ними был, кто есть, а кто - вообще из другого мира. В этом тумане чужих сознаний он был незаметен, как сквозняк.

Он взял свой стакан. Обычный, гранёный, с мутными разводами от прежних возлияний. Стакан стоял на подоконнике, как предмет, который ждал своего часа. Герой сжал его в руке - не с жадностью, а с той спокойной уверенностью, с какой берут инструмент.

Вышел в коридор. Прошёл на кухню.

Там уже гудело. Человек пять, может, шесть. Кто-то сидел на табурете, кто-то - прямо на столе. На газете - нарезанный хлеб, консервы, паштет, раскрытый так, будто его вскрывали не ножом, а нетерпением. В углу стояла та самая полторашка. Уже початая.

Он вошёл тихо. Никто не обернулся. Кто-то рассказывал историю - длинную, несвязную, с матерком на каждом повороте. Ему не мешали. Кивали, поддакивали, смотрели в стол, в стаканы, в пустоту.

Герой подошёл к столу, взял кусок хлеба, намазал паштетом. Ел стоя, медленно, почти торжественно. Потом - ложку консервы. Потом ещё хлеба. Вкус был простой, почти забытый, но именно сейчас он казался ему самым настоящим из всего, что было за последние дни.

Он налил себе спирта. Полстакана. Не потому что хотел - а чтобы войти в ритм. Поднял стакан. Кто-то заметил его, но не удивился. Так не удивляются мебели, которая вдруг оказалась рядом. Чекнулись. Он выпил. Спирт прошёл по пищеводу, как огонь, который не греет, а стирает.

Он не ответил. Налил ещё. Выпил. Второй раз не чокаясь. Внутри стало чуть теплее. Мысли потеряли резкость, как фотография, снятая не в фокусе.

Он стоял ещё пару минут, глядя на людей, которые смеялись и спорили. Они говорили о чём-то важном для них - о справедливости, о деньгах, о том, кто кого уважает. Слова падали в воздух, как листья, и так же бессмысленно оседали.

Потом он наполнил стакан до краёв. Спирт качнулся, блеснул под тусклой лампой, как жидкий туман. И он ушёл. Так же тихо, как вошёл. Никто не остановил. Кто-то даже приподнял руку - то ли помахать, то ли перекрестить.

В своей комнате он сел на кровать. Поставил стакан на пол. Посмотрел в окно. Тополя стояли неподвижно, как свидетели, которым надоело давать показания.

Он отпил ещё. И впервые за вечер подумал, что, может, завтра что-то изменится. Но тут же отогнал эту мысль, как назойливую муху.

Завтра, скорее всего, будет таким же.

Глава вторая

Точка опоры

Прошло ещё несколько дней. Таких же, как предыдущие, но с одним отличием - в груди, где-то под рёбрами, начало тихо поворачиваться нечто, похожее на шестерёнку. Он не сразу понял, что это. Прислушивался, как слушают шум в стене, - не то вода, не то крысы, не то сама жизнь, которую он слишком долго держал на паузе.

Дно - хорошее место. Для временного творчества. Для тишины. Для того, чтобы перестать врать самому себе. Но жить на дне постоянно - всё равно что поселиться в операционной: стерильно, пусто и в конце концов начинаешь разговаривать с инструментами.

Он лежал и смотрел в потолок. Трещины сегодня складывались не в карту, а в букву «П». Потом в «О». Потом в «Р». Пора, - подумал он без пафоса. Даже не подумал, а услышал, будто кто-то в соседней комнате произнёс это вслух.

Даже алкаши, эти викинги с полторашками, - и те берут и зарабатывают. Не на еду, нет. На закуску. Но ведь выходят, ищут, крутятся, сдают металл, таскают коробки, воруют, в конце концов. А он лежит, как забытый экспонат, и ждёт, когда мир сам принесёт ему смысл.

Смешно.

Он сел на кровати. Ноги коснулись холодного пола. И тут нахлынули воспоминания. Не плавно, не издалека - а как порыв ветра, распахнувший окно. Бизнес. Свой. Живой. Он рос, как растёт всё, во что вкладываешь не только деньги, но и злость. Офис, телефон, звонки, встречи, люди, которые смотрят с уважением. Деньги, которые перестали быть целью и стали воздухом. Всё это было. Было - и ушло. Но сейчас не время перебирать пепел

Он встал. Резко, как встают, когда звонит будильник. Подошёл к умывальнику. Вода была ледяной - от неё заломило скулы. Он умывался долго, тщательно, будто смывал с лица не пыль, а весь этот год: спирт, голод, полумрак, чужие пьяные голоса за стеной.

Потом посмотрел в мутное зеркало. Оттуда на него глядел Морозов Филипп Александрович. Постаревший. С тенью. Но - живой.

Он вытер лицо полотенцем, которое давно утратило цвет, и впервые за долгое время осознанно подумал:

Надо выйти.

И вышел.

Солнце ударило в глаза - не ласково, а наотмашь, будто напоминая, что он слишком долго жил в полутьме и теперь должен платить за свет. Он зажмурился, прикрыл лицо ладонью, постоял так несколько секунд. Потом открыл глаза.

Мир был на месте. Слишком яркий, слишком громкий, слишком живой.

Он огляделся. Улица шла под уклон, как всё в этой части города, - к центру, к людям, к витринам, отражавшим чужие лица. Он сделал шаг. Потом ещё. Решимости хватило ровно на то, чтобы выйти за порог. А вот что делать дальше - решимость не придумала. Она вообще не любит планировать. Она как спичка: вспыхнула - и сгорела.

Он шёл по городу, засунув руки в карманы. Смотрел. Думал. Точнее - пытался думать, но мысли разбегались, как бродячие собаки.

Уличные музыканты. Двое. Один - с гитарой, второй - с губной гармошкой. Играли что-то знакомое, но до неузнаваемости. Перед ними лежал раскрытый кофр с мелочью. Люди проходили, бросали, улыбались. Он постоял, послушал. Нет. Слуха не было. Точнее, был, но какой-то внутренний, не имеющий отношения к музыке. Он не смог бы так.

Дальше - художники. Уличные портретисты. Сидели на складных стульях, рисовали туристов, девушек, детей. Пахло пастелью и растворителем. Он посмотрел на их лёгкие, летящие линии. К этому душа не лежала. Да и рука давно забыла, что такое линия.

Потом - продавцы безделушек, жонглёры, парень, который складывал из проволоки имена на заказ. Всё это было чужое. Всё это требовало таланта, энергии, наглости - а у него было только сухое, как пепел, понимание, что он не вписывается.

Он огорчился. Тихо, без злости. Просто опустились плечи.

Он увидел их у перехода - пару жалких пожилых бомжей. Они сидели на грязном пледе, прижавшись друг к другу, как две забытые на морозе птицы. Перед ними стояла картонка, на которой неровными буквами было выведено:

«НА ЕДУ»

И это его огорчило. Не вид их - к виду он давно привык, - а то, что он сам теперь где-то рядом. Что его потолок - вот эта картонка, это ожидание, эта надежда на чужую мелочь. Что он, Морозов Филипп Александрович, может заработать только так - сидя на тротуаре с табличкой.

Стало стыдно. Стыд поднялся откуда-то из желудка, горячий, липкий, как дешёвый суп. Он уже хотел уйти. Но тут в голове всплыло воспоминание.

Когда-то, в другой жизни, он видел таких же - то ли бездомных, то ли просто обнищавших студентов. Они сидели у входа в подземный переход, и на их коробке было написано не про еду, а честно, нагло, с вызовом

«НА БУХЛО!

И им подавали. В разы больше. Люди смеялись, но доставали кошельки. Кто-то - из уважения к правде, кто-то - потому что устал от попрошайек с их вечными голодными детьми. И сам герой - да, он тоже бросил им тогда денег. Не много, но бросил. Просто потому, что за честность надо платить.

Он постоял ещё немного. Потом развернулся и пошёл искать картонку.

Нашёл за мусорным баком - плотную, с одной стороны чистую, с другой - с прилипшим ценником и пятном от кетчупа. Подошёл к бомжу, молча показал на маркер. Тот посмотрел на него мутно, но маркер протянул. Так передают оружие.

Герой сел на корточки, пристроил картонку на колено и вывел чёрным, жирным, чтобы было видно издали:

«Обещаю всё пропить до копейки»

Потом поднялся, отряхнул ладони и пошёл туда, где больше прохожих. Сел у фонарного столба, вытянул ноги, поставил картонку перед собой.

Народу было немного. Но он уже был готов ждать.

Некоторое время было затишье. Прохожие текли мимо, как вода мимо камня, не задерживаясь, не замечая. Он сидел неподвижно, вытянув ноги, и уже начал привыкать к тому, что стал частью городского ландшафта - как трещина на асфальте, как реклама с облупившимся краем.

Но в какой-то момент из потока выделился парень. Молодой. В деловом костюме, но без галстука. В ушах - беспроводные наушники. Шёл легко, упруго, как ходят люди, у которых день удался ещё до обеда. Он явно думал о своём - губы чуть шевелились, будто повторяли слова неслышной песни.

И вдруг он увидел Филиппа.

Улыбнулся. Не усмехнулся, не скривился - а именно улыбнулся, искренне, по-детски, как улыбаются старому знакомому. Остановился в двух шагах. Снял один наушник, будто хотел что-то сказать, но не сказал.

Дальше - немая сцена.

Парень начал рыскать по карманам. Проверил брюки, пиджак, внутренний карман - ничего. Тогда полез в сумку. Там - только карточка, пластик, безжизненный, как витрина. Он замер. Посмотрел на Филиппа, и на лице его отразилось почти отчаяние - то самое, какое бывает у человека, который хочет сделать добро, но мир не даёт ему такой возможности.

И тут он осмотрелся. Взгляд скользнул по улице, по витринам, по вывеске неподалёку. Алкомаркет. Синяя, подсвеченная, с цифрами на стекле. Пара секунд - и он уже шёл туда, почти бежал, оставив Филиппа в недоумении.

Вернулся быстро. В руках - три железные банки пива. Сел на корточки, поставил их перед Филиппом - аккуратно, в ряд, как свечи. Ни слова. Только лёгкий кивок.

Филипп принял. Молча. Покорно, как принимают милостыню, за которую не просил. Он даже забыл сказать спасибо - слово застряло где-то между горлом и затылком. Но парню это было не нужно. Он уже всё сделал. Выполнил свой долг. Распрямился, вставил наушник обратно и пошёл - как супергерой, который не оборачивается, потому что знает: мир уже стал чуть лучше.

Улыбка так и не сходила с его лица. Она удалялась вместе с ним, пока не растворилась в потоке.

Филипп смотрел на три банки. Они холодили ладонь. И было в этом что-то до странного важное - не пиво, не деньги, а сам факт: кто-то увидел его. По-настоящему. И не прошёл мимо.

Филипп вдруг вспомнил, что не обедал. Не то чтобы голод вернулся - просто где-то под ложечкой слабо, но настойчиво заныло. Пиво могло хоть как-то обмануть и желудок, и жажду. Он открыл банку. Хлопок получился звонким, как выстрел из детского пистолета.

И только он сделал глоток - холодная горечь прокатилась по горлу, - как перед ним мелькнула рука. Прохожий, не замедляясь, бросил бумажную купюру. Она легла на картонку, чуть подрагивая от сквозняка. Филипп не успел разглядеть номинал, но тут же захотел сказать спасибо. Слово поднялось вместе с глотком - и он поперхнулся. Пиво брызнуло, он закашлялся, выплёвывая пену, а по асфальту уже звякнула мелочь. Ещё кто-то бросил.

Он перевёл дыхание. Посмотрел на банку. И до него дошло.

Вот чего не хватало. Банка. Живое доказательство.

До этого люди будто не верили. Словно подозревали: а не врёт ли? Не купит ли на эти деньги гречку, хлеб, может, даже носки? Как те бомжи неподалёку, что пишат «НА ЕДУ», а сами, все это знают, возьмут дешёвый самогон, выпьют и уснут, обгадив штаны. Народ чувствует враньё. Даже если не осознаёт - чувствует. И оттого не подаёт.

А тут - Филипп. Открытая банка. Пена на губах. Всё честно. Просит на бухло - и уже пьёт. Вот оно, доказательство. Настоящий, без дураков, алкоголик с картонкой. Не юродивый, не хитрец, не попрошайка. Символ.

Начался час пик.

Люди шли как зомби - плотным потоком, по строго отточенным траекториям, не глядя по сторонам. Каждый - винтик, каждый - функция. Шаг влево, шаг вправо - сбой. Нельзя ошибиться. Нельзя остановиться. Они живут от звонка до звонка, от будильника до подушки, и ждут выходных, чтобы так же нажраться, но - красиво, с салфетками, с тостами, с притворным смехом. Они всегда врут. Врут себе, друг другу, даже зеркалам.

А Филипп вышел из механизма. Сидит на асфальте, с банкой, с честной надписью, и хочет кутить здесь и сейчас. Не в пятницу. Не после работы. А прямо теперь.

И это содрагало.

Люди бросали деньги - бумажки, мелочь, кто-то даже десятку. И шли дальше. Но уже не так. Лица их менялись. Кто-то улыбался - не ему, а себе, тому, прежнему, который когда-то тоже мог бы сесть на тротуар и ничего не бояться. Кто-то задумывался. Кто-то качал головой, как перед иконой.

Он не был попрошайкой. Он был напоминанием. И за это напоминание платили - щедро, молча, без квитанций.

Филипп отпил ещё. Пиво уже не казалось горьким. Оно стало частью представления.

Один мужик остановился. Долго смотрел на Филиппа - не сверху вниз, а прямо, будто приценивался к чему-то, чего не мог выразить. Филиппу стало не по себе. Он даже хотел отвести взгляд, но не стал. Так и сидел, сжимая банку, как атрибут.

Мужик перевёл глаза на две нетронутые банки, лежавшие рядом. Помолчал. Потом спросил:

- Можно?

Голос у него был сухой, будто давно не смазанный.

Филипп молча протянул одну. Мужик слегка растерялся - видно, не ожидал, что ему так просто уступят. Но взял. Открыл. Сделал большой глоток - половину, не меньше. Выдохнул, как после тяжёлой работы. О чём-то подумал. Потом полез во внутренний карман, достал бумажник - потёртый, тёмный, с тиснением, какое бывает у людей, которые носят с собой всё, кроме лишнего.

Филипп не смотрел на деньги. Он смотрел на лицо. А лицо у мужика было странное - не виноватое, не доброе, а будто он проделывал это сотни раз. Будто платил не за пиво, а за право постоять рядом с человеком, который ничего не требует.

Он отсчитал несколько бумажек, сложил их и передал Филиппу прямо в руки. Тот ощутил их плотность, тепло чужой ладони. Мужик кивнул, не сказал ни слова и ушёл. Тяжело, но как-то легко - так уходят люди, которые только что приняли решение.

Филипп удивился. Но не стал это анализировать. Сложил банкноты в карман, отпил ещё глоток и продолжил сидеть.

Час пик кончился. Улица стала тише, прозрачнее. Прохожие шли всё реже, уже без того лихорадочного ритма. Деньги почти перестали падать. Город снова затягивал его в фон.

Тогда Филипп решил сворачиваться. Поднялся, отряхнул колени, огляделся. Картонку на всякий случай спрятал недалеко от мусорных баков - за выступ, где её не сразу найдёшь. Не потому что стыдился. Просто не хотел, чтобы её унесли. Она теперь была инструментом.

Отошёл в тихое место, к лавочке у закрытого ларька, и пересчитал улов. Бумажки, мелочь, ещё бумажки. Голова работала ясно, как счётная машинка. Выходило - на полгода оплаты комнаты. Полгода! И ещё останется на еду. На нормальную, человеческую, не с чужого стола. Фурор.

Но что-то в душе ёкнуло. Тонко, противно, как струна, которую задели случайно.

Он бросил взгляд туда, где осталась картонка. Она лежала в тени, но он всё равно видел свою надпись. Чёрным. Жирным.

«Обещаю всё пропить до копейки»

И вспомнил. Вспомнил, как он оказался на дне. Не деталями, а сутью. Враньё. Большое, системное, красиво упакованное враньё - вот что его сюда привело. Чужое, а потом и его собственное. И если он сейчас возьмёт эти деньги и заплатит за комнату, за еду, за «исправление» - он снова соврёт. Людям. Картонке. Себе.

А он врать не намерен.

Он встал. Сжал деньги в кармане. И со строгой, почти военной решительностью пошёл в бар.

Охранник у входа лениво, но с достоинством, как цербер на диете, преградил путь и кивнул на банку.

- Своё нельзя.

Филипп не стал спорить. Оставил банку «на сохранение» у входа, пристроив её рядом с кадкой, где росло пыльное искусственное дерево. Казалось, банка смотрит ему вслед с укором.

Внутри было полупусто. Бар ещё не проснулся. Он лежал в сумерках, как зверь, который делает вид, что спит. За столиками - пара человек, у окна - девушка с ноутбуком, у барной стойки - никого. Филипп выбрал место в углу, у самого изгиба стойки, откуда виден и вход, и экран, и тени людей. Не потому что прятался. Просто так захотелось.

Он сел. Подошёл бармен - не молодой, не старый, с лицом человека, который давно перестал удивляться.

Филипп заказал сначала еду. Организм не обманешь: если сразу начать с крепкого - свалит в две секунды. А он не хотел сваливать. Он хотел честно продержаться.

Когда-то ему нравилась азиатская кухня. Не то чтобы он был гурманом - просто в той, прежней жизни, были места, где подавали острый том-ям, хрустящие роллы, лапшу в картонке. И это было вкусно. По-настоящему.

- Оякодон, - сказал он

Бармен кивнул.

Коктейль выбрал наугад - ткнул пальцем в карту, не читая названия. Лишь бы не водка. Лишь бы не сразу. Организм должен поверить, что это просто ужин.

Над стойкой висел телевизор. Без звука. Там показывали старый футбол - не матч даже, а его призрак: смазанные фигуры, трибуны, мяч, летящий через весь экран. Всё это было похоже на воспоминание, которое не выключили.

Бар молчал. Не было музыки. Только лёгкий гул холодильника, звон льда, шорох салфеток.

Филипп сидел и смотрел на экран. На душе было странно спокойно. Как перед грозой.

Бар постепенно заполнялся. Люди входили неслышно, как воздух, - по одному, по двое, рассаживались, начинали говорить, и вскоре пространство наполнилось тем особым гулом, который бывает только в местах, где разрешено не быть никем.

Филипп не смотрел в меню. Он наугад показывал на строчки - не потому что не различал слов, а потому что слова уже не имели значения. Бармен кивал и приносил. Всё было правильно.

Он расплатился за третий коктейль, когда краем глаза заметил: один из посетителей бросил бармену чаевые. Не мелочь, а бумажку. Спокойно, как бросают дрова в огонь. Филипп проследил за движением и только теперь увидел у кассы банку. На ней - наклейка, аккуратная, почти деловая:

«На новый байк»

И всё. Без просьб. Без объяснений. Честно.

Филипп оглядел банку. Внутри уже что-то было - мелочь, пара бумажек. Он вдруг подумал о том, что зарплата бармена - штука смешная, на хороший байк не накопишь, если только не жить на воздухе. А так - может, люди помогут. По капле. По монетке. По жесту.

Он потрогал карман. Пальцы сразу поняли, что делать. Он выгреб горсть монет и стал по одной опускать их в прорезь. Прорезь была узкая, рассчитанная на бумажные банкноты, поэтому монеты входили с трудом, с тихим сопротивлением, будто не хотели покидать руку. Филипп опускал их методично, не глядя, одну за другой.

Бармен заметил. Бросил взгляд через плечо, но не успел ничего сказать - заказы шли один за другим. Только потом, когда волна чуть отступила, подошёл к Филиппу. Посмотрел в банку. Та уже на добрые двадцать процентов состояла из железных монет.

Он помолчал. Потом взял шейкер, быстро, как фокусник, налил коктейль и поставил перед Филиппом.

- За счёт заведения, - сказал он.

Филипп поднял бокал - не резко, но с достоинством. Показал, что пьёт за бармена. За его байк. За честность, которая иногда важнее выручки. И сделал небольшой глоток.

Тёплая волна поднялась откуда-то снизу, мягко накрыла плечи, затылок, мысли. Опаение не наступало - оно обнимало. Как старый знакомый, который пришёл без звонка.

Бармен оперся на стойку. Посмотрел на него внимательно, но без давления.

- Как ты? - спросил он.

Филипп медленно повернул голову. В баре было уже шумно, но этот вопрос прозвучал отдельно, как будто в тишине.

Бармен знал: такие, как Филипп, приходят не за выпивкой. И не за знакомством. Они приходят, потому что где-то внутри у них трещина, и им кажется, что бар - это место, где её можно залить. Или хотя бы перестать на секунду чувствовать.

Он это видел сразу. По тому, как человек садится, как смотрит в экран, как не торопится с первым глотком. Поэтому он всегда старался заговорить. Не из любопытства. А потому что иногда простое «как ты?» действует лучше всякого шота. Человек выдыхает. Начинает говорить. И тогда - и чаевые больше, и, главное, есть шанс, что кто-то уйдёт отсюда чуть легче, чем пришёл.

Он не был психологом. Просто много лет стоял за стойкой и слушал.

Пара фраз - и они с Филиппом нашли общий язык. Не сразу, не по-дружески, но как находят тихую волну, на которой можно плыть рядом. Бармен чувствовал: этот не будет плакать в жилетку. Этот будет говорить. И, возможно, его разговор важнее для него самого, чем для слушателя.

- Как ты? - повторил он.

Филипп усмехнулся. Поставил бокал. И начал рассказывать.

Он не изливал душу. Не жаловался. Он говорил так, как рассказывают историю, которая случилась не с ним, а с одним знакомым. Неспешно. Уверенно. С расстановкой. С тех самых пор, как вышел из комнаты, где не горела лампа, и сел на тротуар с картонкой.

Бармен слушал, не отрываясь. Руки его жили отдельно: наливали, встряхивали, украшали, пробивали чеки. Он работал на ощупь, не глядя, как слепой музыкант, - всё внимание было Филиппу. Его ритму. Его паузам. Его лёгкой, едва уловимой улыбке в самых тёмных местах рассказа.

Филипп рассказывал, как человек, который когда-то умел говорить с людьми. И, может, именно поэтому бармен вдруг понял: перед ним не алкаш с картонкой. Перед ним тот, кто умеет рассказывать. Не жаловаться - а завораживать. Такого не услышишь каждый день.

Он подал коктейль соседу, не обернувшись. Потом вернулся. Подпёр подбородок рукой.

- И что дальше? - спросил он.

Филипп поднял бокал, посмотрел на свет. Лёд дрогнул, как живой.

- Дальше, - сказал он, - Бармен спросил у меня - «Как ты?».

Филипп говорил и смотрел только на бармена. Тот слушал, подперев голову, и в этом внимании было что-то почти гипнотическое. Всё остальное - звук, свет, люди - ушло на периферию, как дым.

Но когда Филипп сделал глоток и на секунду оторвался от рассказа, он заметил: вокруг него уже не пусто. Поблизости стояли люди. Не толпа, но человек десять. И они не ждали, когда освободится бармен. Они не смотрели на меню. Они слушали.

Он не сразу понял. Опустил бокал. Молчание повисло, но его никто не нарушил. Все ждали.

Тогда мужик, сидевший через один стул от него, махнул бармену:

- Два таких же, как у него.

И когда коктейли поставили, он молча передвинул один Филиппу. Не глядя, без улыбки, как передвигают зажигалку старому приятелю. Филипп удивлённо поднял бровь, но мужик уже подался вперёд:

- А что тебя к этому привело?

Он спросил так, как спрашивают о продолжении - заинтересованно, жадно, будто читал книгу и не мог оторваться. Будто Филипп был не человеком, а сюжетом, который нельзя прервать на середине.

Филипп всё понял.

Он отпил. Поставил бокал. Оглядел лица. И продолжил.

Правду он говорить не хотел. Не потому что боялся, а потому что знал: этот человек не поймёт, где было настоящее, а где - уже пересказ. И возвращаться в собственное прошлое не было ни сил, ни желания. Поэтому он рассказал историю, которую когда-то слышал. Или читал. Или видел во сне. Теперь это было неважно.

Он рассказывал о человеке, который однажды потерял всё, но не сразу - а по частям, как теряют зубы: сначала один, потом второй, и в какой-то момент уже нечем жевать. О том, как тот человек ушёл из дома без ключей, без телефона, без имени. И как город принял его, не спросив документов.

Это не было враньём. Это было шоу. Спектакль для случайных зрителей, которые хотели не правды, а истории.

Голос его стал глубже, ровнее. Он не жестикулировал, не играл. Он просто говорил - и слова падали в тишину, как камни в воду.

Через десять минут бар затих окончательно. Никто не смеялся. Не стучал стаканами. Даже бармен замер, не донеся до бокала кусок льда. Шумный полуночный бар превратился в тихое место. Люди стояли полукругом, сидели на стульях, на подоконнике, кто-то - прямо на полу. Они слушали.

А Филипп говорил.

Бармен вытер руки полотенцем, посмотрел на затихший зал и вдруг сказал, негромко, но так, что слышали все:

- А может, ты у нас выступишь? По-настоящему. Заработаешь.

И тишина лопнула. Люди зашумели, задвигались, кто-то захлопал, кто-то свистнул. Несколько голосов разом подхватили:

- Давай! Выйди!

- На сцену его!

- Пусть расскажет!

Это было не пьяное требование, а скорее общий порыв - как будто все эти случайные люди вдруг поняли, что не хотят, чтобы вечер заканчивался. Что им нужно продолжение.

В пару мгновений работники бара организовали сцену. Ту самую, в углу, где обычно по пятницам играли музыканты или мучили микрофон начинающие стендаперы. Сдвинули стулья, включили мягкий свет, поставили высокий стул у микрофона.

Филипп не стал ломаться. Он поднялся, взял свой коктейль, но перед этим попросил у бармена большую банку. Обычную, стеклянную, из-под солёных палочек. И поставил её возле сцены. Без слов. Без таблички. Все и так поняли.

Он сел. Оглядел зал. Люди смотрели на него снизу вверх, и в их глазах было то, чего он не видел давно: ожидание.

- Продолжаем наше шоу, - сказал он негромко.

И начал.

Первая история была из детства. Про лето. Про то, как мальчик ездил к бабушке в дом, где пахло пирогами, крахмалом и зачем-то - старой кожей. Про скрипучую калитку, про малину в огороде, про то, как бабушка сидела на лавочке и смотрела на дорогу, будто ждала кого-то ещё. Про то, как вечером она стелила ему постель на сундуке, и он засыпал под её голос, не разбирая слов, а только интонацию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.